

18+

ИДА БЕЛАНОВСКАЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ
ЗА ГРАНИ

Лада Белановская

Путешествия за грань

«Издательские решения»

Белановская Л. А.

Путешествия за грань / Л. А. Белановская — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-552719-6

Сборник рассказов Лады Белановской — удивительный свидетель времени. На его страницах будто оживают документальные кадры — с воспоминаниями, письмами, семейными тайнами, историями. Они, как пазлы, точно ложатся в мозаику времени. А кадры семейной хроники мелькают дальше: голодные 20-е, страшные 30-е, война, оттепель, серебряный век науки в 70-х, ветер перемен 80-х. Каждый пласт истории автор бережно разглядывает. Ведь чтобы что-то узнать о настоящем, не избежать путешествия за грань — в прошлое. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-552719-6

© Белановская Л. А.
© Издательские решения

Содержание

К читателю	6
Другая жизнь	9
По небу полуночи	23
Гарс	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Путешествия за грань

Лада Александровна Белановская

Корректор Алена Зуева

Редактор Анна Столярова

Дизайнер обложки Наталья Карамышева

© Лада Александровна Белановская, 2021

© Наталья Карамышева, дизайн обложки, 2021

ISBN 978-5-0055-2719-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Посвящается памяти дорогих мне людей

К читателю

Появление этого сборника на свет для меня, как автора, явилось совсем незапланированным. Говоря точнее, он неожиданно спутал все ранее построенные мной планы и вырвался вперёд, оттеснив весь тот материал, что был уже написан и ждал моей обработки.

Этот вдруг объявившийся *самозванец* стал требовать своего признания, задвинув в угол всё, что уже было написано. Раньше я немало сделала для будущей книги (она пока безымянна, назовём её просто *большой*). Суеверно боясь сделать неверный шаг и запутаться в двух разных текстах, я довела до конца черновой вариант *большой* книги и только тогда стала редактировать рассказы и повести Сборника.

Разделаться с этим невесть откуда взявшимся творением я собиралась в оставшуюся половину лета. Все его части уже существовали самостоятельно или были набросаны вчерне, оставалось их дополнить, кое-что сверить, выбросить лишнее и, причесав, выпустить на волю.

Устроить себе небольшой летний отдых, занимаясь *малой* книгой, не получилось. Работа пошла совсем не так легко и быстро, судьба, словно в насмешку, именно в те дни вывалила мне на голову массу вновь открытых исторических сведений о времени, описанном в Сборнике.

Я уехала в деревню и осталась там со своими повестями и рассказами всерьёз и надолго. Лето переходило в глубокую осень, потом возвращалось обратно, но ощутимыми для меня были только переходы от одного сюжета к другому. Короче говоря, я «попалась» и засела основательно: всё оказалось не просто и шло не быстро...

* * *

После выхода моей первой книги «Свет каждому» я решила взяться за то, что мной было давно задумано, но откладывалось из-за собственной неуверенности осилить такой труд. Я отошла, насколько это было возможно, от всех других дел, и тщательно и неспешно стала разбирать разрозненные части сохранившегося семейного архива. Разобравшись в них с большим трудом, «сломав глаза» при чтении писем, написанных в старинной манере, с завитками и ятями, я начала с того, что «расшифровала» их и переписала разборчиво и с новой орфографией.

В какой-то момент я почувствовала, что меня поднимает и несёт волна и остановиться уже не в моих силах.

Я знала свою родословную по рассказам бабушки, но в этих, далеко не полных, фрагментах писем, написанных почти без надежды, что они дойдут до адресатов, для меня вдруг зазвучали их живые голоса. В них были такие родные и почти забытые интонации и те особые слова, поговорки и шутки, всегда живущие в каждой семье.

Они говорили между собой. Голоса звучали приглушённо, прилетая из пространства и становясь частью меня самой и моей памятью. Избавиться от этого наваждения было невозможно, пока эти малые частички прошлого я не превратила в несколько совсем небольших повестей и рассказов.

В тёмной воде прошлого я иногда вдруг замечала золотой блик на самом дне – эта была ещё одна отбившаяся от других и утонувшая во времени частичка бытия. Я старалась выудить всё. Так пробивался этот Сборник, почти одновременно с задуманной семейной хроникой, опережая её по времени завершения.

Много времени ушло на редактирование Сборника. Всё время всплывали новые эпизоды, которые, ложась в текст, тянули за собой ещё много всего. Многое написанное ранее приходилось сокращать, хотя мне жаль было это делать. Мне хотелось сделать рассказы более

динамичными и увязать описываемые события с историей, которая дополняется в наши дни документами и свидетельствами из вновь открытых архивов.

Было потрясающее чувство открытия, когда какой-то, не совсем ясный мне, факт семейной истории, как, например, обстоятельства ареста моего дяди, теперь находил своё место и ложился в него, совпадая, как пазл.

Трудно сказать, хорошо или плохо это сказалось на результате, но мне почти не попадались правдивые воспоминания людей, детство которых проходило в довоенные советские годы. Иногда хотелось сравнить, от чего-то оттолкнуться, но то, что мне попадалось, на такие параллели не тянуло.

Может быть, ещё и поэтому я с таким огромным волнением читала сравнительно недавно вышедшую книгу Ю. Слёзкина «Дом правительства». Книга эта уникальна тем, что она построена на основе приводимых подлинных документов, дневниковых записей и воспоминаний её героев. Читая последнюю часть книги, посвящённую детям врагов народа живших в Доме на набережной, и особенно их юношеские записи, я поняла одно – с этими ребятами я и мои московские одноклассники были не только ровесниками. Мы были «одной крови», потому что росли в одном слое культуры и читали одни книги. И это несмотря на социальный разрыв, на то, что они росли в самой привилегированной советской среде и учились в особой школе, а мы, босые и голодные, – на дачной московской окраине.

Главное совсем в другом. Слёзкин, определивший русскую революцию как метафизическую вселенскую катастрофу, подчеркнул одну парадоксальную деталь. Все устремления нового руководства были направлены на то, чтобы разрушить и отместить навсегда всё старое. Предполагалось, что на освободившемся месте сразу образуются поколения новых свободных людей. Руки каждого такого гомункулуса, кроме винтовки, должны были сжимать тома Маркса и Энгельса. Такого автоматического перехода, как и многого другого, не получилось. В эпоху индустриализации до многого просто ещё руки не доходили.

А школа, то главное, что формирует юного человека, так и осталась в руках прежних учителей, родившихся и получивших образование до революции.

Это и послужило причиной того, что идеалы нашего поколения довоенных комсомольцев и привитые нам нравственные нормы были результатом воспитания на культуре девятнадцатого века. И они внесли в наши души и головы больше, чем обязательная пропаганда. Страшная общая беда Второй мировой войны внесла свои правки и развеяла многие светлые иллюзии.

Невозможно не отметить почти мистическую странность того, что книга Ю. Слёзкина попала мне в руки в нужный день и час и дала мне так много. Как будто это многое чудесным образом само пришло ко мне.

Сегодня я больше всего хочу вернуться к прерванной работе над книгой. Опять залезу в архивы и попаду в то время, когда меня ещё не было на свете.

А сейчас отпускаю в мир этот сборничек с немного странным названием «Путешествие за грань». За грань чего? Попытаюсь объяснить

Один древний восточно-римский философ, объясняя по-своему схему мироздания, утверждал, что из трёх ипостасей времени, как материи, реально существует только прошлое. Будущее нам неведомо, и, таким образом, его нет, оно живёт лишь в наших надеждах. Настоящее же – это только *грань*, минуя которую будущее становится прошлым.

Если мы хотим что-то знать о себе и понимать то, что происходит в жизни, нам не избегать путешествий в наше прошлое, за эту острую разделяющую грань.

* * *

В этой работе, полной неожиданностей, была одна большая радость. Самыми терпеливыми и верными помощниками были мои дети и внуки; передаю им мою большую благодарность за понимание и заботу.

При печатании и компоновке текстов мой сын Алёша проявил чудо выдержки, приняв на себя борьбу с моей компьютерной тупостью и корректируя её позорные результаты.

Мой внук Саша оказался добрым волшебником, чего раньше в нём не было заметно. Он являлся на помощь, когда в «моём прекрасном далеке» вдруг переставал ловиться интернет. Были напряжённые моменты, и не один раз! И не только с интернетом! Все они, включая дочку Олю, были всегда рядом, и поддерживали меня, и не давали пасть духом от неудач.

* * *

Три или четыре раза в это лето я приезжала в Москву по делам, но дня через два возвращалась. Когда в первый свой приезд я вошла в квартиру, вместе с запахом давно закрытого жилья меня окружило что-то новое, какое-то едва уловимое дуновение, и на минуту показалось, что без меня здесь кто-то побывал. Пройдя по квартире и не найдя признаков вторжения, я посмеялась над своими фантазиями и широко открыла балконные двери. Вместе со спрессованным городским воздухом внутрь ворвался шум улицы.

Я оглядела своё жилище и присела на диван, блаженно вытянув усталые ноги. Всё стояло в покое на своих местах, но к обычной радости встречи с домом после отсутствия почему-то примешивалась какая-то настороженность. Я ещё не понимала, что именно, но было в нём что-то не так. Я зажгла свет, прошла по комнатам и сразу поняла в чём дело. Всё, висящее на стенах, теперь почему-то висело с перекосом, довольно сильным или едва заметным, причём с наклоном в разные стороны. Своих и чужих картин разных размеров у меня развешено немало, и то, как они теперь висели, смотрелось довольно диковато.

Я слишком устала с дороги и, кроме того, ни в какую чертовщину, полтергейсты, а тем более в возможность землетрясения я не верю. Решила об этом не думать, погасила свет и легла спать. Висите себе как хотите, хоть вверх ногами, завтра разберёмся!

Среди ночи я проснулась, как-то ни от чего. Было тихо, и светлый контур окна уже выделялся в темноте. Окружающий воздух содержал тот неуловимый знак присутствия кого-то или чего-то, что удивило меня вчера на пороге, когда я открыла дверь. Слева от моей кровати, в углу, стоит очень старинный платяной шкаф. Он был когда-то подобран на свалке, моими руками возвращён к жизни и к резной своей красе.

Засыпая снова, я слышала переступающий топоток и хорошо знакомый скрип старой деревянной дверцы. Где-то совсем рядом раздалось негромкое, но многократное потрескивание.

Открыв глаза, я увидела знакомый резной контур шкафа на фоне светлеющего окна. Помимо этого контура абсолютно ничего не просматривалось.

Эти звуки, услышанные в ночи, меня не встревожили и не испугали. Ничего враждебного не могло исходить от этого, почти родного мне, шкафа.

Удивляло только одно: каким образом могло это «нечто» ходить и ворочаться в крошечном пространстве между шкафом и притиснутым вплотную креслом.

Такое было уже не единожды, и я привыкла к этому шуршанию и вздохам из шкафа. Они меня даже успокаивают. Не сомневаюсь, что при желании всё можно объяснить совсем просто, например шорохом в трубах отопления или движением соседей за стеной.

Но не хочу. Пусть будет на свете ещё одна, совсем пустяковая, но не разгаданная тайна.

Зачем? А просто так. Трудно объяснить почему, но это помогает нам принять доставшуюся нам такую прагматичную жизнь.

Другая жизнь

Повесть

Дом, где я родилась, стоял на тихой астраханской улице, на той невидимой границе, что отделяет обширную татарскую часть города от его центральной части.

Название *улица Тихомировская* очень подходило этой относительно широкой улице, по которой мирно двигались арбы и повозки, не производя шума благодаря мощному слою пыли на мостовой. Они курсировали мимо нашего дома между большим районом Татар-Базара и другими частями города, широко и бестолково раскинувшегося между рукавами и протоками речной дельты. Полуденную тишину нарушали разноголосые певучие призывы водовозов и торговцев арбузами, дынями и всеми прочими дарами бахчей и садов.

Когда я подросла и стала разбирать написанное, меня очень удивило, что на почтовых конвертах нужно писать *улица Тихомирова*, а не привычное слово *Тихомировская*. В этом виделось что-то неправильное, тем более что взрослые тоже не могли рассказать, кто же был этот Тихомиров, чьим именем звалась наша улица.

Кстати, я узнала сравнительно недавно, что Лев Тихомиров был видным революционером-народовольцем, убеждённым сторонником террора, чему совсем не соответствовали ни его фамилия, ни облик нашей тихой улицы.

Время ставило свои вехи наступающих перемен. Я уже не удивилась, когда в тридцать пятом или тридцать шестом году бабушкина улица стала называться *Челюскинской* (*вернее, улицей Челюскинцев*). Тогда в стране не оставалось города или населённого пункта, где не имелось бы улицы, названной в честь героически спасённого экипажа парохода «Челюскин».

Появилась табличка с названием, но в обиходе все жители продолжали называть улицу по-старому. Ближний к нам мост через Канаву, пыльный городской садик и большая улица, ведущая в центр города, как и в прежние времена, всё ещё назывались *Губернаторскими*. Самые большие и красивые городские бани продолжали называть *Черновскими*, а не как было написано кривоватыми буквами на новой вывеске, кое-как приделанной над входом поверх красивых букв старого названия. Я совсем недавно освоила грамоту и находилась в периоде острого интереса ко всему написанному крупным печатным шрифтом. На новой вывеске значилось, что это «Санитарно-пропускной пункт №1 Городского банно-прачечного треста». Старинная кондитерская на центральной улице обычно именовалась «*Шарлау*», или, если точнее, «*У Шарлау*». Никто не называл это чудесное место «Кооператив №4 Горторга», как значилось на вывеске. Я теребила взрослых, спрашивала, почему так, но не получала ответа. Они только целовали меня и отшучивались. А дедушка говорил ещё что-то о «многих знаниях, умножающих беды». Все смеялись, а я немного дулась на них.

Бабушка навещала своих пациенток в любое время года и в любую погоду, мне же удавалось поехать с ней далеко не всегда, а только вечерами ранней осени или весной, когда страшный астраханский зной отступал или ещё не полностью набирал свою силу. Возвращаясь из дома пациентки, мы выходили на угол, где обычно в ожидании стояли извозчики. Подойдя к одному из них, бабушка говорила заветное: «На Тихомировскую!» – и мы ехали, уже не спеша, под розовым закатным небом, через весь город. По улицам и через дороги сновали горожане, гуляющие или спешащие по своим вечерним делам.

Наша пролётка раскачивалась на рессорах, преодолевая ухабы и выбоины старой мостовой. От этого глубокого качания было немного страшно, моя душа замирала от радости, и хотелось в такт качке подпрыгивать и взлетать ещё выше, до самого неба. Бабушка посмеивалась, но её руки крепко держали меня сзади и не давали вырваться и взлететь.

* * *

В то время, в конце двадцатых годов, я была совсем мала, мне ещё предстояло вырасти и открыть для себя мир вокруг. Самой освоенной для меня областью мира был бабушкин дом и двор, его обитатели и те наши знакомые, кто часто к нам приходил.

Собственно, наше довольно просторное жилище было не отдельным домом, а половиной большого деревянного дома, длинным фасадом с высокими арочными окнами, смотревшим на Тихомировскую улицу. Дом был разделён на две половины каменной стеной-брандмауэром, и каждая его половина имела своё отдельное парадное с двустворчатыми входными дверьми. Двери были массивные, с красивыми медными ручками. Наша ручка всегда сияла, она была предметом особой заботы нашей домоправительницы Мани. Выше, на полотнище двери, недоступная для моих глаз, висела красивая медная табличка. Будучи поднятой на нужную высоту, я любила гладить пальцем завитки ещё непонятных для меня букв. Мама мне читала:

#

Акушерка

Евгения Павловна Климентьева

Я давно подозревала, что главный человек из всех, кто окружает меня, это моя бабушка Евгения Павловна. Табличка подтвердила это окончательно и бесповоротно. Мне, как и всем маленьким детям, было почему-то очень важно выстроить для себя субординацию окружающих меня людей. Как всякому живому существу в жизненной системе координат мне нужна была единая доступная пониманию точка отсчёта.

Детская душа изначально настроена на *абсолют* во всём и не признаёт никакой относительности. Кстати или некстати, но мне приходит мысль о точно таких же повадках собак и многих других братьях наших меньших.

В другой, не нашей, половине этого длинного дома проживал его владелец. У него бабушка снимала нашу большую квартиру вместе с частью двора и дворовыми постройками. Хозяин дома был необщительным человеком, его редко можно было увидеть во дворе. Обычно он выходил из дома вечером, и соседи с ним здоровались, называя по имени-отчеству, он же, молча глядя в одну точку перед собой, лишь приподнимал соломенную шляпу и молча кивал головой. В облике и поведении этого человека, которого все за глаза называли непонятным словом *дьякон*, мне всегда чудилось что-то таинственное. Мне казалось, что дьякон – это человек вроде колдуна или волшебника, и я глядела на него во все глаза, когда он проходил. Совершенно не представляю, откуда залетела мне в голову эта фантазия, и почему его внешний вид запомнился мне так невероятно подробно.

Мне до сих пор непонятны такие странности человеческой природы. Какой смысл заложен в том, что я так подробно помню этого, чужого мне человека и в то же время столько нужного так легко и безвозвратно улетает из памяти.

Играя во дворе, я видела, как дьяконовы дети плющили свои носы и ладошки на стёклах веранды и с интересом следили за носящейся мимо их окон детской стайкой. Только став взрослой, я узнала, насколько тяжела и опасна была жизнь этих внешне неприметных людей. После установления в Астраханской губернии власти большевиков духовенство подверглось особенно жестоким расправам со стороны властей и ЧК. Служителей культа расстреливали без суда, как врагов революции. В 1919 году вместе с епископом был расстрелян идущий вокруг собора пасхальный крестный ход.

Шли двадцатые годы, в Верхнем и Среднем Поволжье население выкашивал голод, и у властей тогда ещё не доходили руки до «социально чуждых» граждан. Позже, в середине тридцатых, о них ещё вспомнят. Наш домохозяин, бывший дьякон кафедрального собора, ста-

рался никак себя не обнаруживать. Чудом избежав расправы во время смены власти, он теперь тихо жил со своим семейством в самой небольшой части своего прежнего дома, выходя только по необходимости.

Двор, расположенный вдоль внутренней стороны дома, состоял из двух половин, на каждую из которых выходило своё дворовое крыльцо и застеклённая терраса.

В самом конце длинного двора напротив всегда распахнутых массивных ворот стояло каменное строение красильни, бывшее когда-то каретным сараем. Красильней владел процветающий в то время меховщик и шапочный мастер, татарин по имени Гаряй.

Когда Гаряй, отец моих приятелей Сугута и Раузы, появлялся в дверях бывшей каретной, вся наша детская стайка собиралась вокруг, ожидая привычной игры. Вся фигура красильщика была припорошена чернотой, особенно узловатые руки, где в складках кожи чёрный цвет приобретал сине-металлический оттенок. Гаряй поднимал чёрные клешни рук и делал вид, что идёт ловить нас.

Это была обычная наша игра. Мы прекрасно знали, что Гаряй добрый, и всё же внутри всё обмирало от страха, и мы с визгом, налетая друг на друга, неслись от этих чёрных рук в дальний конец двора.

Дом, где жила семья красильщика, тоже выходил в наш двор. Отсюда начиналась татарская сторона, и все дома до самого татарского базара уже были отгорожены высокими сплошными заборами с низкими калитками в воротах. Словно отмечая эту границу зримо, под уклон от красильни, по пыльной земле текла, извиваясь блестящими змейками, вылитая из чанов отработанная краска.

Краска стекала к воротам в большую, очень красивую, сверкающую на солнце, зеркальную лужу. Меня как магнит притягивал её блеск, но от этого соблазна меня сразу уносили по воздуху крепкие руки нянь-Маруси. Душа сладко замирала в полёте, я высоко взмывала в сильных руках над зеркальной гладью и приземлялась уже на «нашей» стороне двора.

Во дворе между двумя половинами дома росла старая мощная глициния. Её многочисленные серые стволы как канаты обвивали нашу террасу. Весной в высокие окна заглядывали гроздья лиловых цветов. В душистых цветах жужжали пчёлы, а на деревянном полу террасы играли тени перистых листьев. Наступил год, когда глициния вдруг погибла, вся эта красота вдруг сразу исчезла, и привыкнуть к новому оголившемуся виду террасы всем было трудно. Гибель глицинии была неизбежна: в астраханском крае все кусты и деревья живут только до той поры, пока их корни не доберутся до глубин, где лежат солончаковые грунты.

Мой дедушка был музыкантом, в семье все играли на разных инструментах, а у мамы к тому же был сильный и чистый голос. Музыкальные вечера в нашем доме были частью жизненного уклада и до моего рождения. Продолжались они и в годы моего раннего детства, когда этот дом был для меня родным гнездом. Позднее взрослые как могли мне объяснили, что раньше, когда меня ещё не было на свете, жизнь вообще была совсем другой. Вся семья жила тогда не в доме дьякона, а совсем в другом месте и другом большом доме, где тоже вечерами собирались и играли музыканты.

В двадцатые годы, о которых здесь идёт речь, Нижнее Поволжье понемногу возрождалось после страшных лет кровопролития, голода и разрухи, когда всё прежнее сгинуло и остались только заботы о том, чтобы не пропасть от голода и холода. Новая экономическая политика – НЭП – спасла страну и оживила Нижнее Поволжье. Именно тогда, в эти трудные годы, сохранившиеся прежние ресурсы помогли людям выжить.

Верные друзья, уцелевшие в этой буре, стали опять собираться в бабушкином доме, и эти встречи для всех, включая хозяев дома, были спасательным кругом, скорее даже плотом, помогающим не утонуть в море новой реальности. Необходимо было продолжать жить в ней, преодолевая себя. Инстинкт заставлял их держаться вместе, чтобы не утонуть, поддавшись отча-

янию. Необходимости вспоминать болезненные темы прошлого не было, собиравшиеся в доме на Тихомировской знали друг о друге если не всё, то очень многое...

В какой-то момент почти полностью иссохшие в людях ростки жизни потянулись к свету. Робко возвращалась память о прошлой, казалось бы, навсегда ушедшей жизни, и вновь приходила тяга к музыке, которой раньше она была наполнена.

Всё это я узнала от бабушки и поняла значительно позже, уже в сознательном возрасте. А тогда я только впитывала весь окружающий мир, вполне по-младенчески полагая, что только я и являюсь его центром.

Кстати, это было не так уж далеко от истины. Моё несколько незапланированное появление на свет изменило уклад жизни нашей семьи, сделав обязательным соблюдение порядка, который образуется, когда среди взрослых растёт маленький ребёнок. В этом порядке для всех окружающих находится дело, все векторы прежней жизни устремляются в сторону ежедневных насущных дел.

Далеко не все наши гости были профессиональными музыкантами, хотя многие из них были исполнителями в том инструментальном ансамбле, лидером и вдохновителем которого был мой дед. Кто-то из друзей приходил реже, но на концерты, где программа исполнялась в «отыгранном» звучании, собиралось довольно много слушателей. Бывало тесно, сдвигалась мебель, но в конце концов место находилось для всех пришедших. Музыканты настраивали инструменты, поправляли пюпитры, и... наступала тишина ожидания.

Мне передавалась необычность общего настроения, и я замирала в своём любимом углу, за фортепьяно, у зелёного кресла. Здесь, за креслом, я пряталась в уютную впадину у печки и отсюда могла видеть всю комнату и всех слушателей. Особенно я ценила то, что здесь можно было потихоньку сползти, скользя по кафелю, на пол и укрыться от няни, которая только и ждала момента, чтобы уложить меня спать.

Сегодня мы не представляем себе, как можно прийти в гости без предварительного телефонного звонка. В те времена, когда ещё не было телефонов, но была привычка живого общения, нравы были куда проще: гости приходили без оповещения, и это никого не смущало.

Каждый вечер в одно и то же время ставили самовар. Для жителей Астрахани, с её зноем и сухостью, самовар был естественной и необходимой частью домашнего обихода, к тому же всегда кто-нибудь забредал к вечернему чаю. В доме всегда имелось нехитрое угощение – ягодные пироги, пареная айва, варенье. Если хозяева были чем-то заняты, гости могли откланяться либо остаться и помочь хозяевам в делах. Не испытывая никакой неловкости, гость мог провести в доме время за книгой или фортепьяно и потом закончить вечер вместе с хозяевами. В провинции тогда ещё не расцвёл буйным цветом «квартирный вопрос», но уже близко было время, когда это завоевание революции сметёт в небытие и домашние концерты, и все прочие «буржуйские штучки».

В столицах «уплотнение» квартир началось сразу же после победы революции и даже одновременно с ней. Коммуналки вошли в жизнь как неизбежное дополнение.

Среди вечерних наших гостей самым близким и постоянным был доктор Кораблёв. Кажется, его звали Иван Павлович, но для меня он всегда был «доктор», когда я говорила с ним, и «доктор Кораблёв» – когда в его отсутствие говорили о нём.

Доктор Кораблёв был известным, много лет практикующим в городе, детским врачом и близким другом семьи. В среде городских медиков он славился как уникальный «слухач». Его стетоскоп спасал детские жизни в те времена, когда ещё не так широко применялся рентген и не было антибиотиков. Дружбе с доктором Кораблёвым был не один десяток лет, и только ему в нашей семье доверяли здоровье детей, племянников и всех детей своих родных и друзей.

Он был из тех врачей, которые не только лечат своих маленьких пациентов, но и выхаживают тяжелобольных, иногда по нескольким дням живя в доме в ожидании, пока малышам не станет лучше.

Не следует забывать о таких особенностях города, как гнилые ветреные зимы и страшный летний зной, в котором мгновенно начинает разлагаться всякая органическая еда, и особенно рыба – основной продукт питания. Если к особенностям климата добавить близость степи с чумными грызунами и транзитный порт, то получалась именно та среда, в которой расцветали самые разные инфекции. В бабушкиной практике, когда ей случалось принимать роды и под угрозой оказывались жизни матери и младенца, всегда посылали за Кораблёвым. Он сразу приезжал, даже если это случалось глубокой ночью.

Таким же давним и верным другом была Марья Александровна Годт, тоже врач, причём потомственный, из семьи немцев-колонистов, обосновавшихся в Поволжье с екатерининских времён. В далёком прошлом, когда бабушка, выпускница женских медицинских курсов, только начинала свою работу в городе, её наставником был известный доктор Годт, отец Марьи Александровны. Жизнь поворачивалась разными сторонами, каждую семью подстерегали свои тупики и свои собственные потери. Позже холера унесла родителей-Годтов, но Марья Александровна каким-то чудом тогда выжила. Окончив медицинские курсы, она вернулась в Астрахань, и с тех пор всегда была рядом с нашей семьёй, где раньше часто бывала с родителями. В самые безнадёжные периоды, когда приходили тяжкие беды, она была из тех друзей, на кого можно было положиться всегда и во всём.

Во времена, о которых я пишу, Марья Александровна мне запомнилась, прежде всего, своей непохожестью на остальных наших знакомых и на членов нашей семьи. Она была всегда очень сдержана, даже суховата, и я, растущая в живом и эмоциональном общении, немного её стеснялась.

Внешне эти качества проявлялись и в её манере одеваться. На ней никогда не было ярких или вообще каких-либо цветных одежд. Она была недурна собой и стройна, но одевалась всегда во что-то бесцветное. Обычно это было тщательно отглаженное парусиновое или из другого подобного материала платье тусклого цвета и простого покроя. Такая же аккуратная панاما с опущенными полями была на голове.

От меня не утаилось, что мама и тётя между собой потихоньку подшучивали над этим странными М. А. В нашем доме все женщины, независимо от возраста, включая бабушку и Маню, любили красивую одежду. Исключением была моя няня, нянь-Маруся. Она ничего не понимала в «фасонах», но зато любила делать «настоящую», то есть мужскую, работу. Словом, ни малейшего намёка на аскетизм в быте и привычках нашей семьи никогда не наблюдалось.

У Марьи Александровны была ещё одна особенность совсем другого свойства. У неё была редкая болезнь – она не могла переносить шерсть животных, в частности кошек, а тогда медицине ещё не так много было известно о борьбе с аллергией.

Можно представить себе, как трудно жилось человеку с этим заболеванием в пропахшей рыбой Астрахани, где не только на пристанях, но и в каждом дворе вольно жили и плодились многочисленные поколения кошек.

Когда на пороге возникала фигура М. А., бабушка, громогласно отдав команду убрать коты, выдерживала гостью в парадном, плотно прикрыв двери в дом. Тем временем Маня кидалась по всем углам и комнатам, ища и выволакивая оттуда наших питомцев, спящих после ночных трудов.

Несмотря на сдержанность манер Марьи Александровны, все отдавали должное её влиянию в нашем доме. Даже бабушка, наш самый главный человек в доме, относилась к ней как-то особенно, не так, как ко всем.

Между ними бывали беседы, с глазу на глаз, за чаем на террасе, и никто не пытался в них вступить. Я из любопытства всё норовила остаться, прижавшись к бабушкиным коленям, но меня всегда уводили, пока я не смирилась и не поняла, что всегда лучше исчезнуть вовремя. Бабушкин характер порой приводил её к поспешным выводам и решениям, о них она потом

жалела, но признаваться в этом даже себе самой не любила. Она знала, что необходимый противовес она всегда найдёт в спокойной рассудительности Марьи Александровны.

Почти всегда вместе с М. А. приходила её дочка Нилочка. Полное её имя было Неоніла – такое старинное и необычное имя дала М. А. своей единственной дочери. Девочке этой в тот год было лет восемь, и мне очень хотелось с ней подружиться, но всё как-то не складывалось. Приходя к нам, Нилочка держалась около своей мамы, слушала музыку и разговоры, но, когда я звала её играть, улыбалась и отрицательно качала кудрявой головой. Это меня огорчало, мне очень нравилась эта девочка, и было обидно, что для неё я ещё совсем малышка. Нилочка на тот момент была вдвое старше меня.

В годы Гражданской войны М. А., как врач, была мобилизована и работала в передвижных воинских лазаретах в степи на линии недавно построенной Кизлярской железной дороги. Осталось навсегда неясным, на чьей стороне, белых или красных, были госпитали в этих наспех оборудованных полуразбитых санитарных поездах. Вполне вероятно, что и сами медики не всегда могли определить, кому они помогают. Санитарные поезда переходили из рук в руки, пока всё окончательно не потонуло в неразберихе отступления и ужасе общей обречённости.

Тогда там, в безводной степи, смешались остатки отступавшей на Астрахань 11-й армии красных с бело-казацкими частями, выступившими им наперерез с флангов. Бывшие противники сбивались в общие толпы. Потеряв лошадей, без воды и пищи, дойдя до истощения и обезумев в тифозном бреду, тащились они по голой степи, не разбирая пути. Отставшие падали и оставались лежать. Сама собой исчезла важность того, кто на чьей стороне воюет. Медики, как могли, пытались помочь людям, потерявшим человеческий облик, но ещё живым, оказавшимся у своего последнего предела.

В один из промозглых дней астраханской зимы М. А. появилась на пороге прежнего, бабушкиного, дома, в сбитых опорах и в каких-то невообразимых лохмотьях. Ещё до того, как она сняла с себя все слои намотанного тряпья, бабушка, взглянув ей в лицо, всё поняла и безошибочно определила количество недель до родов. Случай был не из лёгких, роды были поздние, но прошли в положенный срок. Бабушка приняла в свои руки хорошую здоровую девочку и выходила обеих: и мать, и ребёнка. Она даже сумела достать вакцину и сделала младенцу оспопрививание, что было тогда совсем не просто.

Пришло время, я узнала эту историю и многое другое о нашей семье из рассказов бабушки и из сохранившихся старых писем. Лет в двенадцать меня стало занимать то, что было написано на этих желтоватых листках, ломающихся на сгибах. Ветры времени разметали и унесли потом эти листки, от них осталось совсем мало, если не считать того, что сохранила моя крепкая детская память.

Они всегда приходили к нам вместе – Марья Александровна с Нилочкой, и их присутствие для меня неотделимо от дома на Тихомировской. Когда в тридцатые годы большая часть нашей семьи уже переселилась в Москву, эта дружба не прервалась. Она продолжала жить в письмах. В то время люди активно писали друг другу, ждали письма, беспокоились и посылали телеграммы, когда те долго не приходили.

До войны мы с бабушкой, а иногда и с дедом, почти каждое лето приезжали в Астрахань, жили у тётки Нины и опять встречались со всеми дорогими нам людьми. Бабушка весь год готовилась к этим встречам, её неудержимо тянуло в город, где столько пришлось пережить, и где всё это помнил каждый камень. Здесь остались труды, потери и определился её непростой характер. С неё всегда был спрос за всё и за всех. За тех, кого лечила, за благополучие семьи, за мужа и подрастающих детей.

В самом конце войны, когда уже не было на свете ни нашего дедушки, ни Марьи Александровны, военный врач Нила, бывая проездом в Астрахани, не переставала навещать бабушку и тётю. Она и моя нянь-Маруся всегда оставались для нас самой близкой роднёй. Старых дру-

зей и знакомых, собиравшихся когда-то в «зелёной» гостиной на Тихомировской, с годами становилось всё меньше.

С самого начала войны, сразу по окончании мединститута, а может быть, даже с последнего курса, Нилу призвали в армию. Всю войну она прослужила в эвакогоспиталях, специальных санитарных поездах, вывозивших раненых с боевых позиций в тыл. В последний раз я её видела в тёткином доме, году в сорок седьмом, сразу после её демобилизации.

Мои тогдашние приезды в Астрахань были скорее вынужденными: в Москве было очень голодно. И что совсем уж не оставляло выбора: на лето нужно было освободить койко-место в институтском общежитии.

При встрече мы с Нилой крепко обнялись. Я смотрела и поражалась её сходству с матерью, словно исчез целый пласт времени, и передо мной стояла прежняя Мария Александровна.

Только минуту могла длиться иллюзия, прошедший временной пласт был так плотен, что и мы, пройдя через него, были уже совсем другими. Очертания той, *другой* жизни, просвечивая сквозь него, казались теперь совсем далёкими.

Передо мной была стройная женщина в форме майора медицинской службы, с планками боевых наград. Лицо было молодым, но следы накопленной усталости лежали на висках и под глазами.

Музыкальные вечера в бабушкиной «зелёной» гостиной различались и по количеству гостей, и по их составу. Бывали вечера, когда собравшихся было так много, что приходилось распахивать двухстворчатые двери в коридор. Как я понимаю теперь, это были репетиции перед какими-то концертами, которые проводились в разных городских залах. Со времён прежней, как её тогда называли, *мирной*, жизни в городе ещё хранились некоторые традиции, хотя многие из них постепенно уходили навсегда. Неузнаваемо менялись и те места, где когда-то прежде собиралась городская публика.

В годы НЭПа, когда стало легче жить не только нэпманам, но и горожанам, что-то из прежней жизни, хоть и в изменённом виде, стало понемногу возвращаться. В городских садах и на набережных, где вечерами гуляла публика, с маленьких деревянных эстрад опять зазвучала музыка. Репертуар состоял из тогдашних лихих шлягеров и мелодий из оперетт, а их исполнение случайно собранными оркестриками было больше похоже на пародию. И всё же это был знак, что жизнь ещё может вернуться!

Чтобы понять, почему это было важно, придётся немного вспомнить историю. Примерно с середины девятнадцатого века Астрахань постепенно становится музыкальной столицей Поволжья. Городские театры и концертные залы были выстроены известными зодчими на средства богатейших меценатов. В этих стенах с прекрасной акустикой шли выступления местных певцов и музыкантов, сюда же ежегодно съезжались на гастроли многие столичные знаменитости. Приглашение на гастроли в Астрахань в артистической среде считалось знаком престижа и всегда охотно принималось. Здесь был обеспечен достойный приём публики, полные сборы и чествования с памятным подношениями.

Концерты и спектакли были в городе необыкновенно популярны и посещались, помимо дворянского и купеческого сословий, теми, кто принадлежал к образованным разночинцам. Центрами притяжения для этой части интеллигентного общества были известные люди, с давних пор высылаемые сюда за свободомыслие и «неблагонадёжность».

В городе действовали городские музыкальные классы под патронажем Императорского Русского музыкального общества, в них преподавал мой дед и учились мои дядя и тётя. Всё это было и отошло в прошлое задолго до моего рождения.

А теперь вернёмся в тот вечер, когда, сидя на полу в углу гостиной, я вслушиваюсь в тишину и жду чего-то, что должно начаться. Мне радостно, немного тревожно и хочется спрятаться. Передо мной внутренность фортепьяно, в эту тёмную таинственную пещерку я

всегда любила залезать. Меня туда манил строгий запрет что-либо трогать, он-то и подогревал моё любопытство. Когда кто-то садился за инструмент, перед моими глазами начинали оживать молоточки, обитые грязно-белым фетром, и гулкий звук шёл со всех сторон сразу. Долго выдержать в этом звучащем укрытии было невозможно, и я выползала, пятясь на четвереньках, пока не оказывалась в кафельном углу у печи.

Самой яркой из всех гостей всегда была Софья Григорьевна Домерщикова. Она приходила не особенно часто, но почему-то было ясно, что её приход очень важен для всех и что она вообще человек особенный. В моей голове возникала ревнивая догадка, что в музыкальных делах она даже главнее моего дедушки!

Внешность и манеры Софьи Григорьевны были необычны, я никогда ещё не встречала никого, похожего на неё. Когда она входила в гостиную, всё в ней меня удивляло и немного пугало, особенно низкий властный голос и смех, совсем не совпадающие с любезными словами приветствий. У неё было крупное, очень белое лицо с сильно подведёнными глазами и крашенными в неестественно-чёрный, даже скорее тёмно-синий, цвет волосами. Таких прямых, жёстких и отливающих металлом волос я не видела никогда. В детском моём невежестве мне было невдомёк, какие сложные опыты приходилось тогда проделывать над собой женщинам, чтобы закрасить раннюю седину. До появления нормальной краски для волос в нашей стране было ещё далеко.

У Софьи Григорьевны с детства был деформирован позвоночник, и необъяснимым чудом природы была её блестящая пианистическая техника. Здесь я позволю себе кое-что вставить из того, что узнала позднее. Софья Домерщикова была рождена с ярким музыкальным талантом, он развивался и набирал мощь вопреки всему, даже её физическому недостатку. Вместе с этим изъёмом природа наделила её тончайшей музыкальностью в сочетании с необычной для женщины силой длинных рук и крупных кистей.

Её необыкновенный дар сразу выделил её среди учащихся Санкт-Петербургской консерватории, где её заметил молодой С. В. Рахманинов. Известно, что их совместная концертная деятельность продолжалась и в Московской филармонии, и в гастрольных поездках по России. Вероятно, она продолжила бы и далее, но революция положила конец всему устройству прежней жизни.

Сергей Васильевич, отправившись в гастрольную поездку, не вернулся на родину и навсегда остался за рубежом, а С. Г. по здравому размышлению решила уехать из Москвы, надеясь переждать лихолетье в городе, где она неоднократно бывала с гастролями, и где её имя было хорошо известно и почитаемо. Это «переждать» было в тот период очень характерным для интеллигенции стремлением временно уехать, пока привычная жизнь не вернётся на круги своя.

Если меня не подводит память, в армянской диаспоре Астрахани были у С. Г. родственные связи, и это обстоятельство в те беспокойные годы могло иметь решающее значение.

Не углубляясь в биографические подробности, отмечу только, что Софья Домерщикова всю дальнейшую свою жизнь связала с Астраханью, и здесь, в этом городе, расцвёл её редкий педагогический дар. В течение многих лет, вплоть до сороковых годов, её трудами воспитывались замечательные исполнители, чьи имена стали широко известны в музыкальном мире.

В числе её учеников была когда-то и моя тётка Нина, у которой, кроме врождённой музыкальности, были воля и сильный характер. Преодолевать ей приходилось многое: маленькая кисть с коротковатыми пальцами требовала особых упражнений, а её небольшой рост был дополнительной проблемой. Но в её небольшом крепком теле была физическая сила, а в характере – редкое упорство в утверждении себя. Софья Григорьевна угадала перспективы, поверила в свою ученицу и стала, не считаясь со временем, всерьёз работать с ней, готовя для поступления в консерваторию. В самый разгар подготовки тётка вдруг, неожиданно для своей наставницы и для всех родных, перестала приходить на занятия.

Причина была в том, что у Нины случился роман, любовь, изменившая всю её судьбу и ставшая главной в её жизни. Но это уже совсем другая история, она болезненна, и здесь я не буду её касаться. Случай, когда ученик без объяснений оставляет наставника, – одна из самых тяжело переносимых измен.

Музыка была главным стержнем жизни С. Г. Все остальные её составляющие, в том числе быт, существовали для неё вполне условно, на самом дальнем плане, в той единственной своей функции, которая влияла на занятия музыкой.

Многое, что случилось с нашей семьёй потом, сильно изменило весь ход её жизни и состав окружения, рядом остались только немногие из друзей. В числе оставшихся была и С. Г. Все обиды и недоразумения были забыты, они не смогли замутить чистоту прежних отношений.

Укрывшись за креслом в своём уголке, я понемногу сползала по стенке на прохладный пол. Напротив меня в кресле сидела Софья Григорьевна, я глядела на неё во все глаза и не могла оторваться. Всё её лицо, особенно глаза, словно жили вместе с музыкой, были её частью и каким-то образом управляли ей. Мне становилось не по себе, когда на это лицо вдруг набегала тень и оно становилось совсем чужим. Словно случилось что-то неправильное, и уже нельзя было ничего с этим поделать. Но вот, через секунду, музыка уже лилась так, как нужно, и лицо главной её повелительницы вновь оживало, а всё вокруг – светлело.

Мои веки становились всё тяжелее. Ярко светили лампы-молнии, подвешенные высоко под потолком, и постепенно из моих глаз к ним начинали протягиваться какие-то тонкие лучи. Эти светящиеся дугообразные нити от моих глаз уходили за пределы стен дома, и там, в дальней дали, пересекались, образуя причудливую сеть. За эту светящуюся сеть начинали уплывать звуки, за ними растягивались и плыли все предметы и лица. Все они уже были отделены от меня, и между ними уже начинали оживать какие-то неясные образы из побеждающего меня сна. Я чувствовала, как меня уносят тёплые руки, и уже в полутьме спальни, проснувшись на мгновение, слышала приглушённое закрытой дверью мамино пение:

*«Не пой, краса-а-авица, при мне...
Ты не-есен Гру-узиш печа- а-альной,
Напомин-а-ают мне-е оне-е-е-е-е-е-е-е-е-е...
Другу-ую жизнь и бе-ерег дально-ой...»*

Для меня этот романс остался навсегда связанным именно с теми вечерами моего детства. Никаких прямых аналогий не было. Наш волжский берег, по любым меркам, не был дальним, да и лирическая печаль, вдохновившая поэта в дни ссылки, не была частью того, чем мы жили в те годы. Жизнь была просто *другой*, не похожей на ту, что пришла позже.

В этом романсе и особенно в этих девяти нотах с протяжным, как дуновение ветра, «е-е-е-е-е-е-е-е» слышалось созвучие многому из того, что окружало меня в те годы. Этого я тогда ещё не могла ни оценить, ни понять до конца.

Перекрёсток древних торговых путей в дельте Волги было пронизан влиянием Востока, пришедшим из глубин многих тысячелетий. Самые разные народы проторили пути на этот торговый перекрёсток, они шли с Русского Севера и с Прикаспийского Юга, с востока из Индии и Средней Азии. На запад уходил путь в Причерноморье и далее в Юго-Восточную Европу и Малую Азию.

Население города состояло из представителей самых разных осевших здесь национальностей и конфессий. Может быть, и не всегда мирно, но, в конце концов, все они уживались и не враждовали. Кроме наиболее многочисленных русской, казачьей и татарской диаспор,

в Астрахани с незапамятных времён жили кавказцы, калмыки, кайсаки (прикаспийские кочевники), персы и другие представители прикаспийских народов.

По астраханским улицам вальяжно вышагивали верблюды в клочьях свалявшейся шерсти, запряжённые в скрипучие арбы, нагруженные арбузами, дынями и всякой южной зеленью, далеко разносились певучие призывы торговцев. В окно сквозь щели ставен была видна выбеленная солнцем, расчерченная почти чёрными тенями часть улицы. Днём меня не выпускали из затемнённой прохлады дома, и только вечером, когда отступал зной, начиналась настоящая жизнь.

В благодатных сумерках распускались душистые цветы, пели цикады, а с наступлением темноты начинали свою переключку сверчки. Трели сверчков, такие робкие с вечера, постепенно набирали силу и ближе к ночи звучали неправдоподобно громко. Я долго не знала как они выглядят и, увидев, с трудом поверила, что на самом деле эти громогласные ночные певцы совсем маленькие.

До этого я их представляла себе существами вроде сказочных гномов, настоящими невидимыми хозяевами домов и всего вокруг, что было скрыто темнотой. Слышать их можно было только ночью, увидеть днём – невозможно. Культура нашего быта была далека от сказки, если смотреть из сегодняшнего дня, отстранив ностальгический флёр. Не надо забывать, что при долгом знойном лете в большинстве городских домов не было ни водопровода, ни канализации.

Новые добротные дома строились с особой системой вентиляции, устроенной по немецкому образцу. Она делала почти неощутимым присутствие в доме клозета и кухни. Такое устройство имелось и у нас, в доме дьякона, но большинство домов в нашей округе обходилось без таких сложных и дорогих дополнений. По этой причине неизменной принадлежностью улиц города были обозы золотарей с огромными бочками и ковшами. При их появлении улицы и дворы пустели, а двери и окна надолго захлопывались.

В Астрахани, в татарской её части, где мы жили, было немало действующих мечетей. Утром и вечером на балконах минаретов появлялись фигурки, казавшиеся очень маленькими, и над крышами домов разносилась переключка высоких голосов муэдзинов.

Когда мне было года три, моя тётя Нина, старшая мамина сестра, вместе с мужем, дядей Лёшей, переехали от бабушки в свою квартиру. Новый дом, где они теперь жили, был недалеко от нашей улицы Тихомирова, и мы часто навещали друг друга. Обычно с вечерним визитом от нас отправлялись дед с бабушкой, как правило, прихватывали и меня. От прилива радости я всю дорогу прыгала и кружилась, изображая балетные па, пока меня крепко не брали за руки с двух сторон. Прыжки мои замедлялись в местах, где на низеньких скамейках сидели татарки, торгующие сладостями. Перед ними были разложены бумажные фунтики с чудесной сахарной халвой, фундуком, золотистой мушмулой, *чилимом* и прочими прекрасными вещами.

Я соединяла обе руки взрослых и тянула, робко заглядывая снизу:

– Ну, по-жа-лу-у-ста-а!

Мне было хорошо известно, что на улице мне ничего не купят, но здесь и сейчас всё казалось возможным, и появлялась надежда: а вдруг?! Мои страдания не находили отклика у бабушки, она была непреклонна. Дед молчал, хотя сам факт отказа мне в чём-то портил ему настроение. Так на каждом углу возникала и тут же улетала прочь маленькая тень конфликта.

На наш звонок калитку открывал дворник. Недавно отстроенный трёхэтажный дом был необычным для этого района Астрахани. Какой-то совсем нездешний у него был вид – с его оградой, садом и обширным двором. Дом был построен акционерным обществом, в котором работал дядя. Своим видом и размером он резко выделялся среди улочек и покосившихся домов старого квартала. В сотне метров от дома из серой мешанины старых строений уходил ввысь стройный силуэт большой мечети. Из окон тётиной гостиной можно было хорошо разглядеть её высокий минарет, узорчатые кованые балконы и прекрасные изразцовые украшения на стенах здания.

Я разглядывала этот силуэт, парящий, как мираж, в вечернем небе над убогим окружением. Мне объяснили, что мечеть эта персидская и поэтому она стоит в отдалении от обычных татарских мечетей. Я тогда приняла на веру это объяснение, будучи не в состоянии понять его сути¹, но была поражена, узнав, что в определённый день не следует выходить на улицы, близкие к этой мечети, заполненные выходящими из неё людьми. Мне запомнилось, что там в этот день люди бьют себя железными цепями до крови и называется это «шахсей-вахсей». Пройдёт год-другой после того дня, когда я о нём услышала, и этот религиозный ритуал, как многие другие, более безобидные, будет запрещён, хотя и не забыт окончательно.

Отблеском прежней жизни был огромный старый бабушкин сундук. Это была пещера Алладина, замечательная уже тем чудным и мелодичным звоном, которым отзывался её замок на поворот ключа. Ключ тоже был необычный: большой, резной и красивый. Этот звон всегда был началом волшебного праздника, которым бабушка баловала меня нечасто. Я, замерев от восторга, получала из бабушкиных рук дивные сокровища, давно мне знакомые, но всегда желанные. Крепкий запах нафталина, шедший из этой бездонной пещеры, опьянял и обещал мне нечто ещё никогда не виданное. Из глубин сундука появлялась череда волшебных вещей: огромные помятые шляпы с перьями и цветами, вышитые стеклярусом кружевные накидки, корсеты, невиданные высокие ботинки и перчатки из тончайшей лайковой кожи. Мне до конца не верилось, что такие удивительные вещи можно было когда-то увидеть на моей бабушке, а не только на её старых снимках.

Эти вещи, свидетели лучших дней, были, несомненно, европейского происхождения и качества. Понятно, почему рука не поднималась выбросить такую красоту: хотя и непоправимо устаревшая, она всё ещё была красотой.

Я примеряла эти сокровища и разглядывала себя в зеркале старого трюмо. Подозреваю, что эти примерки выглядели вполне уморительно и служили забавой для всех. Получалась игра в маленький смешной театр.

В этот момент в дверях обычно возникала голова любопытной Мани. Увидев всё происходящее, она заливалась хохотом:

– Ой, не могу-у!

В коридоре заходила лаем тёткина собачонка. Недовольная суматохой бабушка прикрывала двери, и мы укладывали всё обратно в сундук. И как-то всё веселье этой затеи уходило, прощально и нежно звенел замок от поворота ключа. Бабушка брала меня за руку, наклонившись, целовала в макушку, и мы уходили от сказочного сундука в обычную жизнь.

В начале тридцатых годов мои родители окончательно переехали в Москву, а до того мы жили там непостоянно, ютясь по съёмным углам. Родное наше астраханское гнездо ещё долго не отпускало нас в чужой московский мир, и мы с мамой продолжали приезжать к бабушке каждый год.

Я повзрослела и не могла не замечать, как с каждым очередным приездом всё больше меняется моя *другая жизнь* и исчезает прежняя Астрахань. С каждым годом что-то уходило, и терялась необычность её облика.

Однажды прозрев, я подумала, что время уносило всё то, что делало Астрахань *восточным городом*. Знакомые места и дома словно понемногу заносились слоем серой пыли, обесцвечивающим и стирающим их знакомые очертания.

В городе многое подновлялось и ремонтировалось, но при этом почему-то всегда использовалась масляная краска серого, тускло-синего или коричневого цвета. Густые слои масляной краски каждую весну покрывали всё, что потрескалось, облезло или могло попасться на глаза начальству.

¹ Имеются в виду разногласия шиитов и суннитов в мусульманской вере.

Под слоем краски оказывалось всё, что ещё оставалось от прошлого: затейливая лепнина и роспись бывших особняков доходных домов, павильонов и модных лавок. В число «капитально обновлённых» попали: кондитерская «Шарлау», интерьеры Черновских бань, и всё прочее, что ещё могло напомнить о прежнем облике города. Лицо города постепенно стиралось, уступая требованиям новых стандартов. На пустырях и окраинах появлялись новостройки, возрождались прежние и проводились новые трамвайные линии. Водопровод и электричество теперь не были привилегией центральной части города. Жизнь и быт менялись, но изменения шли медленно, почему-то их ход иногда надолго замирал, останавливался или сводился на нет.

Мне удалось застать многое из того, что в последующие годы было унесено временем. Это была моя *другая жизнь*, она жила всегда и во мне, и сама по себе, как нечто отдельное и скрытно влияющее на ход всех событий.

С каждым разом, когда я приезжала, город и жизнь в нём становились всё более близкими, удивительно схожими с тем, что строилось в других городах. Названия астраханских улиц, гостиниц, кинотеатров и магазинов за редким исключением были абсолютно такими же, как в Вологде, Саратове, Хабаровске, Свердловске и далее по списку. Никакой *восточности*, всё как везде, без отступления от стандартного набора. Многих вновь приехавших астраханцев это даже радовало. «Мы как все и не хуже других», — думали они.

* * *

Я давно стала взрослой, жила в Москве, там были мой дом, моя семья, моя работа. Астрахань стала уже совсем не той, какой я её когда-то знала и любила и где жили дорогие мне люди. И всё же я не могла отделить себя от этого города; несмотря ни на что мои корни ещё держались за его солончаковую почву. Слишком много мне суждено было там пережить в разные годы моей жизни. В том числе и те дни, когда мне пришлось хоронить живших одиноко и умерших в один год тётку и дядю. Теперь здесь не осталось у меня даже знакомых, если не считать немногих соседей в тётином доме. Многих из них вспоминаю с благодарностью и добром, а иных и помнить не хотелось бы, слишком много примешалось всякого к отношениям с этими людьми.

Через восемь лет после ухода тёти умерла мама. Я чувствовала себя оглушённой, выпавшей из жизненной обоймы, чужой себе самой и не нужной никому. Много месяцев я не могла никак с этим состоянием справиться и чувствовала, что совсем плохо. Показалось, что будет легче, если я съезжу в Астрахань, увижу родные могилы, побываю в тех местах, где мы когда-то бывали вместе с мамой.

Был конец августа, время жестокой астраханской жары. Я приехала в город, и оказалось, что всё складывается отвратительно: поменять обратные билеты невозможно, в моём распоряжении всего один день. Я сошла с теплохода утром, и в моей сумке лежал обратный билет на ночной московский поезд. Я сдала багаж и поехала на трамвае в город. От центра знакомым путём по Кировскому мосту перешла Канаву, и на углу Спартаковской улицы меня словно какая-то сила затянула в знакомый проём полуразрушенных ворот. С прошлого моего приезда во дворе мало что изменилось. Так же в углу громоздились мусорные ящики среди мраморных разводов высыхающих помоев. Всё так же часть двора занимали ряды дощатых сортиров. Система канализации, ранее работавшая в доме, всё ещё не была восстановлена, и новые жильцы не утруждали себя хлопотами, их устраивали эти привычные «удобства во дворе». Каждый маленький сортирчик был принадлежностью одной квартиры, и поэтому на всех, как гарантия защиты, красовались разнокалиберные висячие замки. Длинная многоногая скамейка у крыльца, и растущие около неё кустики кохии и «ночной красавицы»: всё было таким же, как и много лет назад. Таким же, как в тот памятный день, когда мы с мамой, сдав ключи от тёткиной квартиры, уезжали отсюда навсегда.

Приближался полдень, жара уже набрала силу, и я поняла, что не рассчитала свои возможности и вряд ли смогу добраться до кладбища и без чьей-либо помощи разыскать могилы. С учётом времени на ожидание трамвая в оба конца, я просто не смогла бы это сделать в оставшиеся часы. Стараясь держаться теневой стороны улиц, я, потеряв определённую цель, пошла вдоль сильно заросшей камышом Канавы в ту сторону, где начинался когда-то татарский квартал. С непривычки я раскисла от жары, меня не воодушевляли остатки памятных мне строений: моя первая школа, старые ворота с тумбами, ничто не могло прогнать равнодушия и недовольства своей бестолковостью.

Я брела по мало изменившимся улицам, думая, куда мне деть время до вечера, и вдруг меня что-то остановило. На другой стороне улицы я увидела серый от времени деревянный дом, его декор отличался плавной кривизной провинциального модерна и каким-то особенным фронтоном с овальным отверстием посередине. Это отверстие и обрамлённые им куски вечернего или утреннего неба я столько лет видела из окна своей детской! Я огляделась, и мне вдруг стало ясно, что я нахожусь у бабушкиного дома, на улице, бывшей Тихомировской, а позднее ставшей Челюскинской.

С трудом веря самой себе, я начинала узнавать некоторые сохранившиеся рядом старые дома. Мне до мелочей были знакомы эти двери, лестницы и когда-то нарядные, а теперь тёмные и обветшавшие фронтоны.

Наш «дьяконов» дом я сначала не узнала и просто не могла поверить, что такой высокий и солидный особняк может так сильно врасти в землю.

Бывшее наше парадное было заколочено, низ двери, чуть покосившись, ушёл в землю, но дом всё ещё сохранял признаки когда-то добротного жилья. Кое-что было подновлено: ставни исчезли, и на серых стенах, подчёркивая их возраст, ярко белели современные стеклопакеты.

Я провела рукой по створке бывшей двери, пытаясь в осыпающихся слоях краски найти следы от винтов, когда-то державших здесь медную табличку. Ко мне, опираясь на палку, подошла и поздоровалась старая татарка. До этого она подозрительно поглядывала на меня, сидя на лавочке у ворот. То, что происходило дальше, было неправдоподобно и похоже на сон. Тем не менее всё было именно так.

Старуха вполне хорошо и почти без акцента обратилась ко мне по-русски, спрашивая, кого я ищу. Интонации её голоса и манера держаться мне что-то напоминали, но я никак не могла понять, что именно. Мы разговорились, и только тогда мне стало ясно, что она и есть та наша бывшая соседка по двору Фатима, жена давно умершего красильщика Гарая. Трудно было поверить, что такое может быть в наше время, но они никогда отсюда не переезжали. Фатима помнила нашу семью, всех жильцов и обстоятельства той нашей общей, *другой жизни*.

Мы смотрели друг на друга и обе не верили, что такое может быть.

– Как же не помнить! Здесь жил «акушерка», к нему ходили. Тут это помнят все женщины! – сказала Фатима и, поворачивая ключ в замке ворот, совсем тихо добавила: – ...Кто ещё есть живой...

В нашей старой квартире теперь жил с семьёй её сын Сугут, тот самый, когда-то бегавший с нами во дворе бритоголовый карапуз. Теперь он стал человеком состоятельным, процветал в торговле и, по словам матери, был «начальник». Фатима радушно пригласила меня войти, у неё были ключи от бывшей бабушкиной квартиры. Я внутренне преодолела себя, отказаться было невозможно, хоть я и чувствовала, насколько мне это не нужно. Обижать Фатиму в ответ на её радушие мне не хотелось. Я уже знала, что, если жизнь являет чудо, его нельзя гнать прочь.

Зайти в дом, где ничего не было из того, что сохранялось в памяти, и видеть всё то, что делало его неузнаваемым, было невыносимо тягостно. Всё это навалилось на меня, когда я вышла из дома и простилась с Фатимой. Она проводила меня за ворота и всё приглашала

приходить в гости вечером, когда придут с работы Сугут и его жена. Я оценила её внутренний такт, но одновременно остро осознала ненужность любых возвращений в прошлое.

Я уезжала на ночном скором. Лёжа на жёстких комьях матраса и вдыхая смесь запахов хлорки и железной дороги, пропитавшую влажное бельё, пыталась уснуть. В такт колёсному ритму в голове стучали всплывшие неожиданно слова:

*«Не приходи по старым адресам,
Не возвращайся в те места, где...»*

*«По несчастью или счастьем
Истина проста —
Никогда не возвращайся
В прежние места...»*

Господи, как же там дальше? И чьи это строчки?.. Кирсанов?.. Светлов?.. Заболоцкий?.. Нет, не похоже...

Я погружалась в дремотное забытьё, просыпалась от ярких вспышек встречных огней, толчков состава, колёсного скрежета и всё не могла отделаться от этих неизвестно откуда прилетевших строк. Они стучали в голове в такт колёсам.

Чьи они, я так и не вспомнила.

По небу полуночи

Рассказ

В моих детских воспоминаниях есть одно очень раннее. Оно прочно живёт в моей памяти, храня самые детальные подробности. Скорее всего, именно они, эти новые для домашнего ребёнка подробности, и придали яркость этому дню, сохранившуюся на всю жизнь.

Всё дело здесь, видимо, в особенностях детского восприятия. Маленькие дети видят происходящее вокруг под каким-то особым ракурсом. Их внимание фокусируется не на смысле происходящего, и не так, как у взрослых, а, скорее, на мелких деталях, и, возможно, оттого эти картины и остаются в памяти такими достоверными.

Я не раз убеждалась, что эти впечатления ещё и многослойны. Мысленно возвращаясь к ним и снимая один внешний слой, всегда открываешь для себя что-то ещё, раньше не замеченное.

Это было в годы, когда я только начинала знакомиться с внешним миром, окружавшим дом на тихой астраханской улице, где мы тогда жили. Кроме бабушки и деда, в этом просторном Ноевом ковчеге жила тётя Нина, мамина старшая сестра, с мужем, дядей Лёшей, и мы с мамой. К этой компании следует добавить временами наезжающего из Москвы папу, мою няню Марусю и бабушкину помощницу и домоправительницу Маню. Маня жила у бабушки давно и была во многом незаменима. Она имела характер независимый и шумный, и все, кроме бабушки, немного побаивались её острого язычка.

Что касается моей дорогой няни, то Марусей звала её только я, потому что так ей хотелось, а подлинное имя, которым её крестили, было Аграфена. Придя в наш дом, она вначале стеснялась своего имени, считая его деревенским, и потому решила заменить его модным именем Маруся. Песня «Маруся отравилась» была шлягером тех лет и звучала со всех сторон. Папа объяснил ей, что имя Аграфена греческое, дошедшее из глубокой древности, и потому очень красивое. Папа был убедителен, поэтому «нянь-Марусей» она осталась только для меня, все же остальные стали её звать Граней, и это имя удивительно подходило ей – большой, весёлой и доброй.

В тот год папа был в отъезде, и мы с мамой зазимовали в Астрахани. Приближался Новый год, но тогда, в двадцатые годы, ещё никто толком не мог понять, как теперь быть с этой датой. В годы военного коммунизма все старые праздники были отменены, и с ними повсюду шла борьба безбожников и партийных активистов.

Одним указом большевики вместе с Рождеством и Пасхой отменили и Новый год, посчитав, что все эти «буржуйские» ёлки и всякие там песни-хороводы следует изживать как «опиум для народа», хлам и пережиток.

Но скоро все, включая руководителей новой жизни, поняли, что всё-таки следует как-то закрыть щель, открывшуюся между календарными датами. Она назойливо о себе напоминала и требовала не просто заполнения, а некой вставки, отвечающей политике момента. Те, кому поручено было этим заниматься, пришли к идее праздников для детей. Их, в отличие от ёлок, проводили по утрам, и потому само собой возникло название «детский утренник».

На местах организацию утренников поручили комсомолу. Бдительному комсомольскому слуху в самом звучании слов «Новый год» чудилась подозрительная старорежимность, они вслух не произносились и в бумагах не упоминались, а помещения, где проводились утренники, украшали лозунгами и портретами вождей, как и положено на всех детских и взрослых праздниках.

В это время моя тётя, поставив крест на своём музыкальном будущем, устроилась служить в учреждение, название которого – «Рыболовпотребсоюз» – мне удавалось выговорить

с трудом и только в несколько приёмов. Я любила свою молодую красивую тётю так просто и крепко, без всяких рассуждений, как обычно любят маленькие дети. Не за что-то особенное, а только потому, что она мне была милой и родной. Когда я однажды услышала, что на работе она «ударница и активистка», я поняла, как это важно и замечательно, хотя и не совсем понятно. Путь в новую жизнь для моей тёти Нины тогда только начинался. Она была молода, способна, энергична и всеми силами старалась исправить ошибку судьбы, так некстати наградившей её непролетарским происхождением.

Под тётиним руководством я выучила для выступления в клубе «Рыбпрома» какой-то коротенький стишок из журнала «Мурзилка», в котором были слова про «отряды юных бойцов», и мне они казались прекрасными. Ожидание такого особенного праздника будоражило меня, и дома я долго мучила всех своими вопросами.

Мама, поддавшись общему энтузиазму, за одну ночь соорудила мне платье, для чего был отрезан большой лоскут от чего-то голубого из бабушкиного сундука. Там же, в сундуке, нашлось кружево на воротничок и белая муаровая лента. Я впервые шла на настоящий праздник, внутри всё замирало, и было немного страшно.

Мы с тётёй долго ехали на трамвае, а потом добирались по астраханской зимней слякоти до клуба «Рыбпрома», где проводился «утренник». Клуб находился рядом со старым портом, а он был совсем не близко от центра города, реки Канавы и от бабушкиного дома, где мы жили.

Над дверью клуба под перекрещенными красными флажками кривовато, чуть налезая углом на верхний косяк, висел знакомый портрет. Я уже знала, что это Ленин. Мне всегда было непонятно, почему в детских книжках его часто называли «дедушка Ленин». У меня был один-единственный, мой самый замечательный на свете дедушка Андрей Игнатьевич. Таких дедушек, как он, не бывает много, это я знала точно.

В длинном темноватом помещении клуба сновали дети разных возрастов, одетые как-то тускло и одинаково, на этом фоне моё голубое платье словно засветилось. Я заметила, что несколько детей оглянулись на меня, и сразу застеснялась своего вида, особенно меня смущал бант, туго завязанный у меня на темени. Я смотрела на пробегающих мимо девочек, и ни у кого из них не было такого торчащего банта, как у меня. Я попыталась стащить бант с головы, но он завязан был так крепко, что, как я ни старалась, он остался на месте, только чуть съехал набок.

Я спряталась за тётку, и в это время всех детей стали делить на группы и растаскивать в разные углы. Ими занимались старшие девушки и парни. Как сказала тётя, это были комсомольцы из её ячейки. Комсомольцами командовала тётенька постарше в красной косынке и с резким голосом. Тётя мне шепнула, что это секретарь ячейки, и я поняла, что именно она здесь главный командир.

Вокруг всё быстро менялось, и вот с дощатого помоста, на котором сидел почти не видный снизу дяденька с баяном, раздались звуки марша. Громкая ритмичная музыка и вообще всё, что последовало дальше, заставили меня забыть не только свои сомнения, но и вообще всё, кроме происходящего на сцене. Меня подхватила и понесла куда-то вдаль радостная волна.

По сцене маршировали мальчики в чёрных трусах и белых майках, в руке каждый держал оструганную палку, и мне было ясно, что это шашки, а сами мальчишки – героические красные конники. Ребята очень старались и сильно топали ботинками по гулкому настилу. Их волнение передавалось мне, я всё сильнее сжимала тёткину руку, она наклонилась ко мне и спросила, всё ли в порядке.

Мой подъём достиг предела, когда мальчики запели знакомую мне песню:

*«Мы красные кавалеристы и та-та,
Та-та-тата-тата-тата-та-та...»*

Кроме первых слов, остальные были непонятными, зато мелодия уносила в даль, в степь вместе с героями-кавалеристами. Всю свою жизнь, сколько бы раз я ни слышала эту популярную песню, я так и не могла разобрать её слов.

Допев песню, ребята стали строить пирамиду, одни вставали на одно колено, а другие, те, что помельче, карабкались к ним на колени и на плечи. На белых майках и на коже ребят чернели следы от резиновых подошв. Слышно было, как мальчишки пыхтели, у них сползали трусы, торчали и выворачивались худенькие лопатки, не всегда получалось соединить руки, но всё равно они были молодцы, и им дружно и долго хлопали, пока они маршировали и спускались вниз, громко топая ботинками.

Дяденька заиграл другую музыку, и на сцену вышли девочки. Пирамиду они не делали, но очень хорошо спели красивую и тоже знакомую мне песню. В ней были такие слова:

*«Смело мы в бой пойдём
За власть Советов!
И как один умрём
В борьбе за это!»*

Эти последние торжественные слова девочки спели громко, даже как-то грозно, отчего по спине побежал холодок. Девочки шли в бой, в руках у них были тоже палки, но побольше, чем у мальчишек. Опять было совершенно ясно, что это вовсе никакие не палки, а боевые винтовки. Становилось очень грустно при мысли, что такие славные и смелые девочки все как одна «умрут в борьбе за это».

Под аплодисменты девочки, тоже стуча ботинками, промаршировали с помоста, и тут рядом возникла главная комсомолка с помощниками. Они стали выводить по одному и ставить на табурет ребят из тех, что толпились вокруг.

Ребята, прижав руки вдоль туловища, звонкими голосами говорили стихи, и все им хлопали. Всё ещё находясь в восторженном состоянии духа от представления, я крутилась, подпрыгивала и тянула тётю к табуретке, мне тоже очень хотелось, стоя на ней, рассказать все стихи, которые я помнила.

Тётя, держа за плечи, стала проталкивать меня вперёд, это было непросто, вокруг плотно толпились дети, их также протискивали поближе к желанной табуретке. Взволнованные важностью момента, мамы вдруг заволновались, что их дети могут не успеть выступить. Возникла даже толкотня и нервозность. Я была меньше всех, и меня уже почти оттеснили, но в это время меня подхватили чьи-то крепкие руки, и я оказалась на табуретке.

Стало тихо, кругом были одни незнакомые лица, на меня удивлённо смотрели во все глаза. Может быть, голубое платье и бант сыграли в этом свою роль. Робея, и от этого вначале негромко, я отбарабанила свой специально заученный стишок, и мне похлопали. Слезать со своей трибуны и уходить мне совсем не хотелось, и вспоминались другие, самые любимые наши с нянь-Марусей, стихи. Парень, что водрузил меня на табурет, смотрел на меня, улыбаясь:

– Знаешь ещё стих? Говори или слазь, а то и другим тоже охота!

Я вдруг осмелела и как-то неожиданно для самой себя вдруг услышала собственный голос:

*«Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю!
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою!»*

Тут же рядом с табуреткой оказалась та «главная», в красной косынке:

– Нет-нет, это неподходящий стих! Мы тут все уснём с твоим «баюшки-баю», – обидно засмеялась она.

– Хочешь, говори какой-нибудь другой!

Стихов я знала много, источником моих знаний были дедушкины книги с прекрасными картинками, которые мне читали. Я выбрала наше с нянь-Марусей самое любимое, и поверх задранных голов ребятишек прозвучало:

*«По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел...»*

Не помню как, но я оказалась внизу, рядом с тётей и главной комсомолкой. «Главная» смотрела сердито и что-то шипела моей тётке.

Тётя была невозмутима, прижав меня к себе, она смеялась, сверкая белыми зубами. Каштановые кудри выбились из-под косынки, она смеялась, и на щеках играли ямочки. Она уже была в жизни на своём месте и знала это, она была из «грамотных», а это тогда много значило и очень ценилось любым начальством, в том числе и в «Рыболовпотребсоюзе». Через какое-то время она сама возглавила комячейку и получила повышение на службе. Именно тогда она выбрала свой путь, по которому шла много лет.

На улицах было слякотно и начинало смеркаться. У ворот старого порта нам попался извозчик, и, к моей радости, он довёз нас до самого дома на Тихомировской улице. Я прижалась к тёплому боку тёти и вспоминала, как замечательно выступали и пели ребята. Мой собственный, не вполне удачный, дебют меня совсем не огорчил. Это было моим первым шагом за порог привычного и ясного домашнего мира. Я была полна тем, что увидела и услышала в этот день. Всю дорогу мне было хорошо, но говорить не хотелось, тётя крепко обняла меня рукой, она думала, что я задремала. Возможно, это так и было, и в этой дрёме вдруг обозначилось чувство неясной тревоги. Я ещё не могла тогда понять, что жизнь впервые даёт мне знак о том, как важно бывает не стать «белым воронёнком». Эта метка так легко и прочно прилипает ко всем неосторожным и чересчур открытым.

В доме было тепло, ярко светили большие керосиновые лампы-молнии, свисающие с потолка.

В прихожей я спросила раздевающую меня няню:

– А вдруг ангел обиделся и улетел насовсем?

– Какой такой ангел? – не поняла она.

– Ну тот, что по небу полуночи...

– Да что ты, детка! Куда же он денется от нас? Сегодня же и прилетит. Пошли за стол!

От уверенных слов нянь-Маруси мне стало опять спокойно и весело. Мы вместе сели рядом с мамой за стол, где уже все давно нас ждали.

А перед сном мы раскрыли нашу любимую тяжёлую зелено-голубую книгу на той самой странице, где была та самая картинка, мои тревоги ушли: ангел летел в клубящейся дымке полуночи.

И тихую песню он пел.

Гарс Рассказ

Моё детство пришлось на ту часть истории, когда случился её слом, последствия чего следовали одно за другим в необычайно быстром темпе. Всё, что окружало нашу семью, тоже менялось и ломалось, не давая возможности определить планы даже на ближайшее будущее.

В разные моменты жизни и при самых разных обстоятельствах я мысленно вновь и вновь туда возвращалась, заново проживая эти унесённые временем частички бытия.

И вот, заплатив за эту возможность опытом собственной жизни, я могу теперь по-настоящему понять и соединить в логическую цепь многие события.

Что касается исторического фона, то всё вышло так, как вышло: многие годы нашей жизни были насквозь пропитаны ложью и отгорожены ей как высокой стеной не только от истины, но и от понимания того, что видели наши глаза.

Наша молодая семья, состоящая из папы, мамы и меня, жила попеременно в двух городах: в Астрахани, где было мамино родное гнездо, и в Москве, где работал папа и куда мы с мамой должны были вскоре переехать, чтобы жить там постоянно.

Наш переезд зависел от получения папой «жилплощади», и вопрос этот должен был вот-вот решиться, все нужные бумаги были уже у папы на руках. Слушая разговоры взрослых, я никак не могла взять в толк, зачем нам уезжать от бабушки на какую-то «жилплощадь», когда здесь нам так хорошо всем вместе. Но на всякий случай помалкивала.

Наше переселение откладывалось, но я нисколько не горевала: в бабушкиной просторной квартире жилось куда привольней, чем в съёмных временных московских комнатухах. Здесь вокруг меня были мои родные, друзья во дворе и самый дорогой мой друг нянь-Маруся, она же – Граня, как звали её все взрослые.

Когда мы приезжали, меня подхватывали и крепко прижимали к груди её сильные руки, от этого возникало чувство, что я дома и что роднее этого места нет ничего на свете.

Папа приезжал к нам не часто, его работа требовала долгого пребывания в разных, в основном далёких, краях, где строились заводы, где нужно было устанавливать новые станки и налаживать их работу.

Я всегда слушала папины рассказы, не отрывая восторженного взгляда от его лица. Смысл его слов мне не всегда был полностью понятен, но я по-детски изо всех сил пыталась представить, как живёт мой папа, когда его нет с нами, и мне ужасно нравилось фантазировать и воображать себе папину жизнь в дальних краях, куда он уезжал работать.

В разговорах о папиной работе часто звучало слово «спец». По моему детскому разумению, это означало, что мой папа знал и умел всё на свете. Это было главной моей гордостью, и отчасти я была права в своей наивности. Но! Истинный смысл этого слова, недоступный для ребёнка, стал мне известен многие годы спустя.

В начале двадцатых годов, когда только-только отшумела Гражданская война, и в результате «отсутствия классовой солидарности в среде крестьянства», народное хозяйство лежало в руинах, а страна была на пороге голода и вымирания. Руководители молодого советского государства вынуждены были ввести беспощадные меры трудового принуждения. Если годом раньше все представители интеллигенции, в том числе и технической, были объявлены «социально чуждыми» и подлежащими «концентрированному насилию, вплоть до уничтожения», то теперь эти же теоретики столкнулись с тем, что стране позарез стали нужны специалисты, владеющие техническими знаниями. На руководящих должностях сидели вчерашние командиры красных войск, надёжные в идейном плане, но ничего не смыслящие в новом для них

деле. При этом без работы бедствовали, зачастую боясь проявить себя, «социально чуждые», но такие нужные специалисты.

В ленинской голове возникла идея «принудительного привлечения спецов», деятельность которых должна быть полностью подотчётной и контролируемой, без принятия на постоянную должность. За несоблюдение сроков они несли ответственность в равной мере с руководителями, вплоть до высшей меры, в зависимости от важности объекта. Безработным «спецам» приходилось на всё соглашаться – другого выхода не было, к тому же никто их мнения и не спрашивал.

Никаких благодарностей и наград за сданную в срок работу «спецам» не полагалось. Условия работы были унижительными, и распространялись они на всех без исключения «бывших», в их числе оказались такие мировые знаменитости, как Шухов, Термен, Джунковский, не говоря о многих других талантливых инженерах.

Я кое-что слышала об этом позднее и сама столкнулась со следами этих столь радикальных мер уже в послевоенное время, где-то в середине пятидесятых. Сложилось так, что при выполнении одной проектной работы в моих руках неожиданно оказались подлинные рабочие документы строительства знаменитой Шуховской башни. Передо мной лежали ветхие выцветшие чертежи с рукописными пометками и подписями самого Владимира Николаевича Шухова. В потёртых папках лежали его докладные записки о невозможности согласиться с упрощениями, предлагаемыми ввиду нехватки некоторых материалов.

Предложения вносились с целью «ускорения сроков запуска первой советской Радиостанции имени Коминтерна», а на деле в разрушенной стране просто не было прокатного металла нужного профиля. Труднее всего было отвечать на безграмотные предложения рабочих активистов, написанные с подачи руководства. В полуистлевших документах полувековой давности сквозили не только стойкость и душевная боль специалиста, идущего на унижительные уступки, но и просто усталость старого и больного человека. Я была совсем не готова к тому, что мне приоткрылось, и не могла поверить в то, что видели и читали мои глаза. Много лет спустя, когда изменился политический климат в стране, я прочитала в воспоминаниях потомков Шухова многое из того, что знала раньше.

Мой отец не имел мировой славы, он просто был способным и образованным инженером, до революции он окончил Императорское Московское техническое училище, но и это, с точки зрения новой власти, было не самое плохое в его биографии. Вдобавок ко всему он происходил из казачьего рода потомственных полковых священников, а во время Первой мировой войны был офицером. Такой набор анкетных данных прекрасно подходил для ревтрибунала, но не для работы на передовом крае индустриализации. Учитывая острую потребность в технических кадрах, на это противоречие закрывались глаза, за счёт чего и пополнялась соцгруппа граждан, называемых «спецами». В те годы любили сокращения слов, чем-то это отвечало запросу времени.

Однажды ранним астраханским утром я проснулась в своей детской от громких голосов и сразу поняла, что приехал папа. Его высокий голос выделялся из общего приветственного гула, его невозможно было не узнать.

Я распахнула дверь спальни и онемела: папа, не успев раздеться, так и стоял в своём заношенном парусиновом плаще, на нём висела мама, а все остальные столпились в углу, рассматривая что-то за креслом.

Шлёпая босыми ногами, я подошла к этому укромному месту, которое считала своей территорией, протиснулась между стоящими и попыталась разглядеть то, что лежало на полу.

То, что я видела, было похоже на груды грязных свалывшихся комков шерсти. От этой груды, дополняя впечатление, шёл резкий и противный запах псины.

Папа, не замечая ни меня, ни своих грязных следов на полу гостиной, прошёл в угол и попросил всех пока разойтись и не шуметь:

– Пёс измучен дорогой, пусть отдохнёт и привыкнет, – сказал он и только тогда, увидев меня, улыбнулся и пошёл на террасу снимать свою грязную одежду.

Я всё стояла в одной рубашонке, не двигаясь с места, и постепенно начинала скорее угадывать, чем различать в спутанной шерстяной куче признаки лап, хвоста, ушей и прочего, полагающегося собаке.

Неожиданно пёс поднял голову и посмотрел на меня жёлто-медовыми глазами, обведёнными тёмным контуром. Я присела на корточки, глядя на это чудо. Мне уже не противен был запах, и вдруг, замирая, я ощутила, как тёплый и нежный язык лизнул мою коленку. Я никогда даже не смела мечтать ни о чём подобном, у нас ещё никогда не было настоящей живой собаки. С этой минуты мне стало ясно, что жизнь моя теперь станет другой и невероятно счастливой.

В ближайшие дни папа с нянь-Марусей отмыли пса, папа сам его вытирал и расчёсывал. Ему соорудили подстилку из старого одеяла, выводили гулять на берег Канавы и знакомили с новым окружением. Папа сказал, что пса зовут Гарс, он чистокровен и принадлежит к очень ценной охотничьей породе. Порода эта называется английский сеттер-ловерак, вывели её в дворцовых псарнях Англии много веков назад специально для охоты на пернатую дичь.

По какой-то причине в сибирском городе Иркутске, где тогда работал папа, Гарс остался без хозяина, и всё сложилось так, что папа просто не мог его не взять, а взяв, не привезти его в самое надёжное место на земле – наш общий астраханский дом. Трудно было представить, как ему удалось такое предприятие – добираться до нас им пришлось на перекладных долго и трудно, оба: и отец, и пёс – прибыли на пределе сил.

Отмытого и расчёсанного Гарса нельзя было узнать, его шерсть оказалась длинной, струящейся и блестящей, её основной цвет был светлым, как сливочное масло, и словно посыпанным крупной серо-коричневых неярких пятен.

Пёс с первого дня выделил меня из всех обитателей дома. Видимо, человеческий детёныш вызывал у него больше доверия, чем взрослые особи, особенно те чужие и враждебные, оказавшиеся рядом в их долгой дороге.

В доме он всегда находил место возле меня и мотался за мной повсюду. Мои дворовые друзья отнеслись к собаке осторожно и как-то отошли в сторонку, в татарских семьях собак не держали. Теперь нас всегда было трое: нянь-Маруся, Гарс и я. Моя няня полюбила Гарса и приняла на себя все заботы о нём, проявляя свойственную ей ответственность.

– А где Гарс жил раньше, до того как приехал к нам? – однажды спросила я папу.

– Это собака моего друга, жившего в Иркутске, – ответил он рассеянно.

Его взгляд говорил о том, что папины мысли заняты не нашим разговором, а чем-то совсем другим.

Я давно привыкла к этой папиной особенности и, совсем не обижаясь, продолжала спрашивать:

– А почему Гарс приехал с тобой? Твой друг его подарил тебе?

– Нет, детка, его хозяин уехал, и Гарс остался один, – папа взглянул внимательнее, теперь он, наконец, воспринял меня как собеседника.

– А когда вернётся твой друг, он заберёт у нас Гарса? – всё не унималась я.

Теперь мне невозможно было представить нашу жизнь без него. Папа встал с кресла и прошёл к окну.

– Он не вернётся, – немного помолчав, сказал папа, и я почему-то не ощутила радости. Хоть и получила уверенность в том, что Гарс теперь наш «насовсем».

Через несколько дней папе нужно было уезжать, и в этот раз очень надолго, его торопили телеграммы из Москвы. В доме царил обычный в случае отъезда тарарам, хотя собирать,

по сути дела, было почти нечего. Система сборов и переездов давно стала привычной частью нашей жизни.

Папа, не доверяя этот процесс никому, сам чистил, доводя до блеска, свою любимую неподвластную времени английскую армейскую кожанку. Сколько я себя помню, эта «вечная» кожанка всегда была предметом его особых забот, с ней он почти никогда не расставался. Резкий запах состава, которым обновлялась кожанка, смешивался с неизменным запахом воблы. Этот чисто астраханский продукт длительного срока хранения был, как всегда, приторочен к папиным чемоданам.

К зиме Гарс похорошел ещё больше, он привык ко всем, пропала его настороженность, он оказался очень ласковым, но при этом далеко не со всеми. В своём отношении к окружающему он проявлял редкое достоинство. Он отворачивался и старался не замечать кошек, которые заметно присмирели с его появлением, и старался уйти в дальний угол, когда на террасу вваливалась играть стайка дворовых ребят.

Куда бы я ни пошла в доме, я всегда слышала за спиной цоканье когтей по крашеному полу. Очень скоро я привыкла, что он всегда рядом, и стала придумывать разные озорные штучки, вроде заплетания косичек из шерсти на хвосте и разных подобных глупостей, за которые мне попадало от няни. Гарс безропотно и, как мне казалось, с удовольствием сносил все эти вольности, разлёгшись на полу и подставляя свой лохматый живот.

Зима в тот год выдалась совсем не астраханская, а скорее московская – шли снега, долго держалась ровная морозная погода, реки стали, и снег не таял, а лежал ровным покровом.

Мы теперь ходили гулять дольше и дальше, чем обычно. Выходили на прочный лёд на Кутуме или на Стрелке, и с нами всегда был засидевшийся дома Гарс.

Кто-то вспомнил, что в сарае за дровяными поленищами должны висеть сохранившиеся с былых времён старые санки. Изрядно потрудившись, дедушка с помощью Грани разобрал поленья и достал с крюка это запылённое чудо, которое по возрасту было ровесником знаменитого бабушкиного сундука. Сани эти были совсем не похожи на те, что мне раньше приходилось видеть. У них были красивые, как-то не «по-теперешнему» лихо закрученные железные полозья, высокое ковровое сиденье и чёрная узорная спинка.

Тут же родилась идея привести сани в порядок и попробовать запрягать в них Гарса – очень уж здорово смотрелись они рядом: наш красавец-пёс и старинные сани! Сам Гарс принял новшество без возражений и даже с интересом, он уже давно набрался сил и тосковал по бегу и вольным просторам.

В один из ярких зимних дней наш отряд, состоявший из мамы, тёти Нины, меня, Гарса и санок, отправился в свой первый ледовый поход. К ошейнику Гарса привязали длинные ремни от саней, я прочно расположилась на сидении, и мой «конёк» легко покатил меня по утоптанному снегу. Мы добрались до Стрелки и вышли на волжский лёд, покрытый снежным покровом, на котором темнели раскатанные гуляющими ледяные дорожки.

Гарс поскакал по этой слепящей белизне, а я сидела в санях, вцепившись в поручни и замирая от ощущения полёта. Мне хотелось, чтобы полёт этот не кончался никогда, но всё же было немного страшно. На всякий случай я решила оглянуться назад, чтобы увидеть, как далеко мы укатили от мамы.

Мне пришлось для этого привстать и повернуться, держась за высокую спинку саней. Я успела увидеть, что мы уже довольно далеко от мамы и тёти, и тут же почувствовала, как под моей рукой заваливается на бок спинка саней. В следующий момент я кувырком вывалилась в колючий снег. Отряхнувшись от снега, залепившего лицо, я не могла сообразить, кого мне нужно звать – маму или ускакавшего с санями Гарса, и решила, как всякий ребёнок на моём месте, прыгать и кричать: «Мамочка-а-а!»

Было обидно видеть, как Гарс, забыв про меня и почуяв неожиданную лёгкость, летел вперёд, почти не касаясь земли. Его шерсть струилась по воздуху, он бежал крупными упру-

гими скачками, словно хотел оторваться от саней, которые кувыркались сзади, оставляя рваные борозды в снегу.

Мама и тётя были достаточно далеко и меня не слышали. Было похоже на то, что они, отправив нашу упряжку, со спокойным сердцем забыли про нас и тоже радовались наступившей свободе. Они затеяли беготню и толкали друг друга в снег и барахтались в нём. Я видела, как с разбегу они скользили по накатанному льду, налетали друг на друга, падали и в воздухе мелькали их ноги в светлых фетровых ботиках.

Меня они не видели и не слышали, им просто было весело и хорошо, а я, очутившись одна среди снежного поля, просто не знала, что мне делать. В глазах копились слёзы обиды, и я уже начала злиться. Почему-то особую неприязнь у меня вызывали именно эти дурацкие ботики, в которых они бегали, забыв про меня, собаку и про всё на свете. Тогда такие ботики были в большой моде, хотя более нелепой и неудобной обуви я в жизни не встречала.

«Вот они бегают в этих своих ботиках, Гарс убежал, а я здесь одна и никому не нужна!» – подумала я. И сразу, словно поймав мою мысль, мама повернулась, всё увидела и, увязая и набирая снег в боты, быстро побежала ко мне по снежной целине.

Тут я увидела, что Гарс, волоча опрокинутые санки, тоже приближается ко мне. Я двинулась навстречу, но сразу заметила, а скорее почувствовала, в нём какую-то перемену. Не добежав до меня, он вдруг остановился, громко и надсадно закашлялся и стал как-то судорожно давиться. Из пасти на снег протянулась мутная слюна.

Подбежав, я подняла и отряхнула сани, подошла к Гарсу и только тогда заметила, что он как-то согнулся, поджал хвост, а его задние лапы и бока мелко дрожат. Он стоял безучастно, отвернув в сторону морду, словно его подменили.

Стараясь отогнать тревогу, я попыталась ласково его уговаривать:

– Гарсинька, миленький, ну что же ты! Давай поедem домой! Ну, пожалуйста!

Гарс продолжал стоять, в ответ слегка подрагивая хвостом, прижатым к задним лапам. Он будто извинялся за свою немощь.

Подоспевшая тётя Нина попробовала его взбодрить:

– А ну, Гарс, давай вперёд! Быстро, собачка! Хватит лениться!

– Давай, давай, Гарсик! – всё ещё не веря плохому, не унималась я и, сидя в санях, отталкивалась ногами, стараясь помочь ему.

Пёс прошёл несколько шагов, остановился и опять так же страшно кашлянул.

Мама высадила меня из саней, сняла упряжь с Гарса и, опустившись в снег перед ним, стала ласково гладить его. Он в ответ как-то неловко уткнулся мордой в её колени и слабо шевельнул хвостом.

Дома, узнав про наши дела и увидев пса, бабушка сразу помрачнела и, не сказав ни слова, только махнула рукой. Она была медиком и всё поняла сразу.

Только тётя Нина была уверена, что всё будет в порядке:

– Просто он устал! Не надо было ходить так далеко. Отлежится и опять будет здоров. Собака – создание выносливое!

Мне так хотелось, чтобы на этот раз она оказалась права.

Дело в том, что с тётей Ниной всегда было трудно спорить, этого никто и не делал, так было всем намного спокойнее. Только с папой у них бывали долгие и какие-то совсем непростые разговоры. Начинались они всегда мирно и шутливо, но потом тётя понемногу начинала горячиться, щёки её пунцовели, а голос звенел и срывался.

Гарс теперь лежал в своём углу, он не вставал и не ел. Пить его уговаривала нянь-Маруся, поднося миску к морде.

Примерно дня через два-три он действительно отлежался и стал понемногу вставать и есть. Он подходил ко мне, нетвёрдо ступая, старался лизнуть, смотрел на меня, но его глаза

не были прозрачно-медовыми, как прежде, их заволакивала мутная влага, она стекала, пачкая шелковистую шерсть морды.

Он редко теперь выходил из дома, его ноги, совсем недавно такие крепкие, теперь как-то по-стариковски подогнулись, острые бугры лопаток стали заметно выпирать.

Граня (моя нянь-Маруся) всеми силами, пыталась «поправить собаку», я-то знала, что папа именно её просил заботиться о Гарсе. Теперь её мучало, что всё случилось так потому что она не уследила. Она садилась на низкую скамеечку, терпеливо разбирала и расчёсывала свалившуюся в комья тонкую собачью шерсть.

В нашем доме всё стало каким-то другим, в него тёмной дымкой вползла тревога, сразу приглушив и отодвинув всё, что раньше казалось нужным и важным. Я даже не очень чётко помню, как в этот раз мы встретили папу, приехавшего за нами, и как мы с мамой собирали вещи, укладывая багаж в дорогу.

Чтобы я не мешала взрослым, накануне отъезда меня уложили пораньше, но я долго вертелась в постели, не засыпая, и всё прислушивалась к звукам дома.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.